

Проф. Д. БЛАГОЙ

ПУШКИН ПОСЛЕ ЛИЦЕЯ

1817 г.

I

Разъезжаться из лицея начали в самый день выпускного акта, 9 июня 1817 года. Пушкин уехал одним из первых.

«Лицей — прекрасная тюрьма», писал за год до этого один из наиболее осторожных и начальству послушных лицейских товарищей Пушкина, С. Г. Ломоносов. «Минули годы заточенья», восклицал сам Пушкин в прощальных стихах лицейским друзьям. Однако к радости освобождения, которую Пушкин испытывал, примешивалось чувство горечи и обиды. Первые же шаги Пушкина в самостоятельную жизнь были и первым крушением взлелеянных им планов ее устройства.

«Кавалергард ты будешь или дипломат?», спрашивает Пьера князь Болконский в «Войне и мире» Толстого. И, действительно, военная — гвардейская — служба или служба по дипломатической части были двумя наиболее естественными путями для молодого дворянского элита эпохи. Стояла эта дилемма и перед большинством тех тридцати юношей, которые шестью годами ранее были поселены в правом крыле царскосельского дворца и росли в течение всех этих шести лет с сознанием своей особой предназначенности «к важным частям службы государственной».

Для Пушкина этот вопрос был давно решен.

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской.
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарский, —

писал Пушкин как раз около этого времени, возможно, в том же 1817 г., об одном из наиболее ценных, наибо-

лее близких ему не-лицейских друзей лицейского периода, будущем авторе «Философических писем», офицере лейб-гвардии гусарского полка, Петре Яковлевиче Чаадаеве.

Пушкин не ощущал себя ни Периклом, ни Брутом. С первых же лет пребывания в лицее он осознал себя писателем, поэтом. Но в русской действительности 10-х гг. прошлого века литературное дело значило слишком мало. На стихи можно было только «проживать», как позднее писал сам Пушкин по адресу пресловутого поэта-графомана, графа Хвостова, но жить на них, существовать поэтическим трудом — стихотворством — было немыслимо. В год окончания Пушкиным лицея его непосредственный литературный учитель, пользовавшийся большой известностью, поэт Батюшков, издал два тома своих сочинений — стихов и прозы — итог почти пятнадцатилетней работы пером. Однако получил он за них только 2 000 рублей ассигнациями, что равнялось всего-навсего одной трети его годового дохода. Пушкин отчетливо сознавал, что путь «сочинителя», тем более стихотворца, в этом отношении не сулил ничего доброго.

В одном из самых ранних и первом появившемся в печати стихотворении Пушкина — «К другу стихотворцу» — житейской участи поэта уже посвящен ряд весьма красноречивых строк:

Положим, что на Пинд взобравшись счастливо,
Поэтом можешь ты назваться справедливо:
Все с удовольствием тогда тебя прочтут.
Но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут,
За то, что ты поэт, несметные богатства,
Что ты уже берешь на откуп государства,
В железных сундуках червонцы хоронишь,
И, лежа на боку, покойно ешь и спишь?
Не так, любезный друг, писатели богаты,
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Поэтов — хвалят все, читают — лишь журналы;
Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
Камоев с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он:
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.

Пушкин понимал: «в оковах службы царской» не быть нельзя. Но в гвардии эти оковы были по крайней мере и

наиболее позолочены, и «увиты лаврами». «С 1812 г., — пишет один из исследователей общественного движения этой эпохи, — всё, что только было образованного, шло в военную службу; старый обычай, по которому военная служба считалась специальностью дворянства, усилен был порывом патриотизма, — лучшее, что могло быть сделано для отечества, казалось, могло быть сделано только в рядах армии» (А. Н. Пыпин, «Общественное движение в России при Александре I»).

В гвардии служил цвет дворянской интеллигенции эпохи наполеоновских и посленаполеоновских войн. Гвардия была одним из самых ярких очагов антиправительственной оппозиции. Недаром в гвардию пошли наиболее глубокие и сознательные представители оппозиции в лицее, в том числе один из ближайших лицейских друзей Пушкина, сосед по комнате, Иван Иванович Пущин. На военную службу, в гвардию Пушкина влекли и другие, столь понятные и естественные в его возрасте, побуждения.

И в женах, дочерях к мундиру та же страсть!
Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?
Теперь уж в это мне ребячество не впасть,
Но кто б тогда за всеми не повлекся?
Когда из гвардии, иные от двора
Сюда на время приезжали,
Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали! —

признавался один из самых «серьезных» людей эпохи, герой «Горя от ума» Чацкий. Неудивительно, что это «ребячество» нашло такой громкий отзвук и в живом, самолюбивом, привыкшем ярко выделяться, блистать в кругу своих сверстников восемнадцатилетнем юноше, почти мальчике, Саше Пушкине, как звали его в это время все окружающие. Недаром с таким увлечением вспоминает позднее Пушкин это место грибоедовской комедии в своей «Метели».

Военная служба привлекала Пушкина двойной «героикой» — боевых походов, воинской доблести и тех «мирных подвигов», гремевших по чиновному и чинному Петербургу гусарских проделок и кутежей, стоявших на грани дозволенного, а подчас и переступавших эту грань, одним из наиболее прославленных героев которых был второй ближайший не-лицейский друг Пушкина, сослуживец Чаадаева по лейб-гвардии гусарскому полку — идеал «истинного гусара» — Каверин.

Как и Чаадаев, Каверин был «либералистом», членом

одного из первых тайных обществ, «Союза Благоденствия». Однако во всем остальном он был полной ему противоположностью.

Почти одновременно с уже известной нам надписью «К портрету Чаадаева» и в резком контрасте с ней, Пушкин написал такую же характерологическую надпись «К портрету Каверина»:

В нем пунша и войны кипит всегдашний жар,
На Марсовых полях он грозный был воитель.
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,
И всюду он гусар.

Превосходный комментарий к этому «всюду он гусар» дает выразительно-лаконичная запись, сделанная первым биографом Пушкина, Анненковым, со слов близко знавшего Каверина современника: «Каверин, сын сенатора, образованный человек, воспитывавшийся в Геттингене, красавец собой, богатый... лечился от французской болезни холодным шампанским, вместо чаю выпивал с хлебом бутылку рому и после обеда, вместо кофею, — бутылку коньяку, но был остроумен и любезен, и блестящ. Гусар».

Пушкин впоследствии четко оттенил разницу между Чаадаевым и Кавериним: в позднейшем кишиневском послании «К Чаадаеву» Пушкин вспоминает его наполненный книгами кабинет «мудреца» и созерцателя; в первой главе «Евгения Онегина» Пушкин заставляет своего героя встречаться с Кавериним в модном французском ресторане. Два гусара — Чаадаев и Каверин — были центрами прямо противоположных притяжений, полюсами, между которыми протекала почти вся жизнь Пушкина в период между окончанием им лицея и высылкой. Тем существеннее, что оба они служили на военной службе.

Наконец, Пушкину казалось, что военная служба наиболее совмещалась с занятиями поэзией. Перед Пушкиным были живые примеры людей, соединявших в себе война и поэта — меч и лиру» — «русский Буфлер» Батюшков и «певец-гусар» Денис Давыдов.

Беллона, музы и Венера —
Вот, кажется, святая вера
Дней наших всякого певца,
Я шлюсь на русского Буфлера
И на Дениса храбреца... —

писал Пушкин в том же 1817 г. своему «парнасскому отцу» и родному дяде, Василию Львовичу Пушкину, убеж-

давшему его не идти на военную службу. Пушкин живо возражал на это:

Что восхитительней, живей
Войны, сражений и пожаров,
Кровавых и пустых полей,
Бивака, рыцарских ударов?
И что завидней кратких дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров?
Они живут в своих шатрах...
Не знают света принуждения,
Не ведают, что скука, страх,
Дают обеды и сраженья;
Поют и рубятся в боях.
Счастлив, кто мил и страшен миру;
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала;
Кто славил Марса и Темиру
И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла!

Однако ссылки Пушкина на поэзию военной службы были напрасны. Дядя был эхом семейных настроений. Военные планы Пушкина разбились о скупость отца. Расчетливый и прижимистый Сергей Львович, памятуя слова прежнего лицейского начальника Пушкина, бывшего министра Разумовского, твердо решил «образовать» сына «в прозе». Служба в гвардии требовала многих денег, сулила не приход, а непрерывные и большие расходы. Наоборот, гражданская служба для даровитого, обращавшего на себя всеобщее внимание юноши, окончившего находившееся под особым царским попечением учебное заведение и имевшего весьма влиятельных покровителей, вроде Александра Ивановича Тургенева, Карамзина, не требуя расходов, открывала возможность блестящей карьеры. Батюшкову и Денису Давыдову отец и дядя поэта противопоставляли другой образец — сослуживца и давнего друга обоих старших Пушкиных, поэта и министра Ивана Ивановича Дмитриева, бывшего, с их точки зрения, не только примером блистательной служебной карьеры, но и «образцом слога». Последний аргумент был для Пушкина мало убедителен. К литературной деятельности одного из вождей русского сентиментализма, Дмитриева, он и тогда, и много позднее относился с резким отрицанием. Тем не менее отец, от которого несовершеннолетний Пушкин находился в полной — и юридической, и, что еще важнее, материальной — зависимости, имел все возможности поставить на своем. Под

предлогом слабого здоровья сына, что явно не соответствовало действительности, Сергей Львович добился того, что он пошел не в «кавалергарды» а в «дипломаты».

Через четыре дня после выпуска, 13 июня, Пушкин вместе с рядом лицейских товарищей, таких как Корсаков, Кюхельбекер, Горчаков, Ломоносов, был зачислен на службу в коллегии иностранных дел в чине 10-го класса, — коллежского секретаря, — с жалованьем в 700 рублей в год. Все только что названные его товарищи, окончившие лицей лучше его, получили чином выше.

Однако свой отказ от военной службы Пушкин явно рассматривал как временную уступку: «гусарские мечты» он продолжал лелеять в течение почти всех трех последующих лет своей петербургской жизни, делая неоднократные но неизменно безуспешные попытки осуществить их. Утешало Пушкина и то, что дипломатическая служба несла с собой возможность «увидеть чуждые страны» — попасть за границу — общая мечта всей либерально настроенной, томившейся в путях русской «азиатчины» молодежи того времени. Эту мечту, не в пример своим военным мечтам, довольно скоро им брошенным, Пушкин питал в течение всей своей жизни, но ей также никогда не суждено было сбыться.

Чувство горечи от крушения его военных планов в Пушкине, несомненно, было. В одной из так называемых «национальных» лицейских песен, сложенной, очевидно, совсем незадолго перед выпуском, о ближайшем товарище Пушкина, И. И. Пущине, пелось:

Не тужи, любезный Пущин,
Будешь в гвардию ты пущен.
Мы ж нули, мы нули,
Ай люли, люли, люли!

Крайне самолюбивый, Пушкин быть «нулем» даже в шутку не любил. Однако горькое чувство растворялось в том бодром и молодом ощущении выхода из лицейских стен в широкий мир, открытый всем возможностям и путям, — ощущении независимости, заслуженной и сладкой лени, беспечной свободы, — которое охватило Пушкина в памятные предвыпускные дни.

Не без вызова, но и, несомненно, искренно восклицал он в своих стихах «К товарищам перед выпуском», выделяя себя из их хлопотливой, погруженной в мечты о той или иной служебной карьере толпы:

Лишь я, судьбе во всем послушный,
Счастливой лени верный сын,
Душой беспечный, равнодушный,
Я тихо задремал один.
Равны мне писари, уланы,
Равны наказ и кивера.
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассесора.

«Ползти в ассесора» — делать чиновную карьеру — у Пушкина, в самом деле, ни тогда, ни после никакой охоты не было. За все время до высылки из Петербурга, да и позднее в ссылке, Пушкин фактически почти не служил, а только числился состоящим при коллегии иностранных дел. За весь первый петербургский период (1817—1820 гг.) до нас не дошло ни одной служебной бумаги, им написанной или подписанной, неизвестно ни об одном выполненном им служебном поручении. Не давал ничего службе Пушкин, ничего не дала ему и она. Некоторые из товарищей, поступивших одновременно с ним на службу, — Ломоносов и, в особенности, Горчаков, — сделали блестящую карьеру. Ломоносов занимал ряд ответственных постов в русских дипломатических миссиях Америки и Европы, умер в звании чрезвычайного посланника и полномочного министра при нидерландском дворе. Горчаков дослужился до высших государственных должностей и званий — министра иностранных дел и канцлера. Пушкин был переведен в следующий чин титулярного советника, который остальные его товарищи получили сразу же при поступлении на службу, только пятнадцать лет спустя, в конце 1831 г. В этом чине он и умер, кончив свою служебную карьеру тем, чем его товарищи начали.

Таким же бодрым горацианским аккордом, как строки обращения к лицейским товарищам, звучит конец послания Пушкина к дяде, написанного в ответ на его уговоры не идти на военную службу. Заявляя в нем о своей решительной неприязни к писанью «сенатских решений» и занятиям «дипломатическими вздорами» и о столь же решительном предпочтении всему этому службы военной, Пушкин заканчивает следующими примирительными строками:

Но вы, враги трудов и славы,
Питомцы Феба и забавы.
Вы, мирной праздности друзья,
Шепну вам на-ухо: вы правы,
И с вами соглашаюсь я!
Бог создал для себя природу,

Свой рай и счастье глупцам,
Злословие, мужчин и моду,
Конечно, для забавы дам,
Заботы знатному народу,
Дурачество для всех, — а нам
Уединенье и свободу.

II

«Свобода» — свободное, беспечно-независимое существование — сделалась надолго, если не формулой жизни Пушкина, — зависел он, как мы вскоре увидим, слишком от многого, — то во всяком случае идеалом его жизненного устройства. Жадно стал пользоваться Пушкин открывшейся ему возможностью «свободы» и по приезде из лицея в Петербург. В течение первого же послелицейского месяца мы встречаем его то на причудливо-пестрой, кишашей самым разнообразным людом квартире одного из коренных арзамасцев, Александра Ивановича Тургенева, то на театральной премьере с участием знаменитой Семеновой. Растет и ширится круг его знакомств, личных и литературных отношений. В течение все того же месяца он сходится с поэтом и переводчиком «Илиады», Николаем Ивановичем Гнедичем; знакомится с одним из «законодателей театра» и главарей противоарзамасской оппозиции, поэтом, драматургом и гвардейским офицером, Павлом Александровичем Катениным; сближается с только что вернувшимся после многолетнего пребывания в «чужих краях» просвещенным русским путешественником, перенасыщенным европейскими впечатлениями, общением с европейскими политическими и литературными знаменитостями, от Бенжамена Констан и m-me de Staël до Огюста Конта и Гёте, безбожником и англоманом, что не помешало ему вскоре сделаться драчливым калужским губернатором, Николаем Ивановичем Кривцовым; переходит на «ты» с Вяземским; сталкивается с наиболее ярким представителем внутриарзамасской оппозиции, либеральным генералом, вскоре уехавшим «в опалу» — в Киев, Михаилом Федоровичем Орловым.

Вскоре пришлось Пушкину изведать и «уединенье». Не прошло и месяца после зачисления его на службу, как он уже попросил (3 июля) и получил (8 июля) отпуск «для устройства домашних дел» сроком по 15 сентября и выехал вместе со всей семьей — родителями, сестрой и младшим братом Левушкой — в псковское имение матери, родовую вотчину Ганнибалов, село Михайловское.

Сельская поместная жизнь вначале пришлась ему по сердцу. В его душе воскресли детские воспоминания о жизни в подмосковном Захарове. Но длилось это недолго.

«Вышед из лица, — рассказывает Пушкин в автобиографических записках, писавшихся им в 1824 г. в том же Михайловском, — я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане и проч., но все это нравилось мне не долго»...

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон.

...«Я любил и доныне люблю шум и толпу», пояснял в тех же автобиографических записках поэт.

В «шум и толпу» неудержимо потянуло Пушкина и на этот раз. Не имея терпения дождаться конца отпуска, около двадцатых чисел августа Пушкин снова помчался в Петербург.

Однако месяц с небольшим, проведенный Пушкиным в Михайловском, оставил значительные следы в его жизни и творчестве. Именно в это время завязалось знакомство его с михайловской соседкой, владелицей села Тригорского, Грасковьей Александровной Осиповой и ее семьей. Знакомство это превратилось в прочную приятельскую дружбу спустя, но образы патриархального быта псковской вдовы-помещицы, подкрепленные впечатлениями от новой поездки в Михайловское летом 1819 г., несомненно, носились перед творческим сознанием Пушкина, когда, в далеких Кишиневе и Одессе, набрасывал он строфы второй и третьей глав «Евгения Онегина», посвященные семье Лариных.

О силе тригорских впечатлений свидетельствуют стихи, написанные Пушкиным перед самым выездом в Петербург (датированы 17 августа 1817 г.) хозяйке Тригорского и заканчивающиеся строками, в которых сквозь комплиментарную внешность «альбомного» стихотворения явственно слышится подлинный лирический голос Пушкина, согретый теплым и искренним чувством:

Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,

На скат трипольского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума.

Окунулся Пушкин в этот же свой приезд и в стихию одичавшей псковской «ганнибаловщины». Внучатный племянник счел долгом побывать у последнего из оставшихся в живых сыновей петровского «арапа», отставного генерал-майора Петра Абрамовича Ганнибала, занимавшегося на досуге изготовлением домашних водок и наливок.

«...попросил водки, — отрывочно рассказывает Пушкин в дошедших до нас клочках его записок, — подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести, я не поморщился — и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки — и повторил это раз пять или шесть до обеда. Принесли... кушанья поставили...»

Опять-таки едва ли не вспомнился Пушкину образ одинокого «арапа», когда он набрасывал строфу о дяде Онегина, «деревенском старожиле», который

Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел да мух давил, —

сидя на «пуховом диване», перед шкафом, наполненным «строим наливкам».

В двадцатых числах августа Пушкин вернулся в Петербург, где безвыездно (не считая поездки на месяц в то же Михайловское летом 1819 г.) прожил вплоть до своей высылки на юг.

III

И, не став гусаром, Пушкин зажил в Петербурге той «гусарской» жизнью, полной «богатырского разгула», молодечества, жадного — в запой — стремления разом осушить кубок всех наслаждений, предельного напряжения всех физических сил, — которой жили такие герои его воображения, как тот же Каверин.

11 июля 1817 г., значит, всего через месяц по выходе Пушкина из лицея и еще до отъезда его в Михайловское, А. И. Тургенев в письме к своему брату Сергею Ивановичу, находившемуся в это время в «чужих краях», посылая несколько стихотворений Пушкина, так описывал свои от него впечатления: «Удивительный талант и добрый малый, но и добрый повеса». В этом двойном облике — не-

обыкновенного таланта и вместе с тем необычайного же повесы (слово, которое с веселым задором постоянно употребляет в это время в отношении себя и сам Пушкин), беззаботно расточающего этот талант по ветру, непрерывно кидающего под ноги свою собственную жизнь,—предстает поэт всем без исключения друзьям и просто знакомым, встречающимся с ним в период первого петербургского трехлетия.

Шумную и пеструю сутолоку этого своего повесничества—праздного и праздничного петербургского быта—ярко живописует сам Пушкин, набрасывая в первой главе «Евгения Онегина» картину времяпрепровождения своего героя—типическую картину «жизни светского молодого человека» того времени. Однако между Онегиным и Пушкиным была и существенная разница. В противоположность своему герою Пушкин с одинаково жадным любопытством являлся не только в кругах кутящей «золотой молодежи», но и на заседаниях литературных обществ, не только в светских салонах, на балах, маскарадах, в театральных креслах, но и в кабинетах будущих декабристов. Петербургские годы кипенья без остатка брошенных в «игру жизнью» молодых сил были не только годами «богатырского разгула», но и богатырского творческого роста, сказавшегося в первом же произведении, явившемся итогом этого периода,—первом, по-настоящему крупном, стихотворном произведении не только Пушкина, но и вообще всей русской художественной литературы—поэме «Руслан и Людмила».

Отличался быт Пушкина от онегинского быта и еще в одном весьма существенном моменте. Онегин был—«дитя забав и роскоши», Пушкин, по его собственным словам, «погибал в нищете».

По выходе из лицея Пушкин поселился у родителей, квартировавших тогда в доме Клокачева, сохранившемся до сих пор на набережной Фонтанки, у Калинкина моста. Из царскосельского дворца Пушкин попал на далекую и бедную петербургскую окраину, так называемую Коломну, местность отнюдь не аристократическую, изображенную позднее Пушкиным в «Домике в Коломне». Обстановка, в которой Пушкин оказался в родительском доме, была в высшей степени для него тягостна. Материальные дела родителей к этому времени окончательно запутались. Устроительница всего их хозяйственного и домашнего быта, бабка поэта, Марья Алексеевна Ганнибал, совсем захирела и вскоре (год спустя) умерла. Именно к этому времени относится рассказ одного из лицейских товарищей

Пушкина, барона Корфа, о невероятном хаосе, царившем в доме Пушкиных, — о причудливом соединении следов былой барской роскоши с зияющей нехваткой в самых обыкновенных вещах. «Дом их представлял всегда какой-то хаос: в одной комнате — богатые старинные мебели, в другой — пустые стены, даже без стульев; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня; ветхие рыдваны с тощими клячами, пышные дамские наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана». Достигла к этому времени полной силы и болезненная скупость отца поэта. Парадные комнаты освещались канделябрами, а в комнате дочери-невесты горела одна сальная свеча, покупаемая ею на собственные сбережения. Самому Пушкину приходилось подчас мерзнуть в осенние и зимние холода в его нетопленной — из экономии — комнате. Самолюбивый до крайности, Пушкин настолько стыдился своей домашней скудости и неустройства, что не только стеснялся приглашать к себе знакомых, но, с целью избежать посещений, попросту скрывал от многих из них, где он живет. «Желая быть учтивым, — вспоминает П. А. Катенин, рассказывая о первом посещении его Пушкиным в 1818 г., — и расплатиться визитом, я спросил, где он живет? но ни в первый день, ни после, никогда не мог от него узнать; он упорно избегал посещений». В отношении своего адреса Пушкин настолько скрытничал, что, когда тот же Катенин завозил его откуда-нибудь ночью на извозчике домой (услуга, которую друзья, по беднежью Пушкина, не раз ему оказывали), Пушкин велел останавливаться не у самого дома, а на ближайшем углу.

Денег отец сыну вовсе не давал. Пушкин с горечью и гневом вспоминал позднее в одном из одесских писем к брату, как отец «вечно бранился за восемьдесят копеек», которые, — добавлял Пушкин, — «верно б ни ты, ни я не пожалели для слуги», — когда поэт, «больной, в осеннюю грязь или трескучие морозы... брал извозчика» из центра, с Невского, в свою далекую Коломну. «Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака», рассказывает о Пушкине этого времени тот же барон Корф.

Постыдность, унижительность быта в родительском доме, с такой силой выразившиеся впоследствии в монологах Альбера из «Скупого рыцаря», — «стыд горькой бедности» — должны были особенно больно задевать Пушкина, с одной стороны, после недавней жизни в лицее, бок-о-бок с царем и его двором, с другой, — поскольку он завязал

тесные отношения с обществом таких же, как и он, молодых «повес», принадлежавших вместе с тем к кругу без расчета и истощения сыплющей деньгами петербургской «золотой молодежи».

Современем Пушкин выработал оригинальную защитную позу, нашел своеобразное обрекала его бедность среди окружающих избытка и расточительности. Посылая позднее из Кишинева своему младшему брату, Льву Сергеевичу, находившемуся в это время как раз в том же возрасте и условиях, как он сам в бытность в Петербурге, специально им для него составленный кодекс правил жизненного поведения, Пушкин, между прочим, писал:

«Если состояние твоего кошелька или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся прятать свои лохмотья, скорее наоборот, выставляй их наружу: цинизм во всей его грубости импонирует суетности общественного мнения, тогда как мелкие плутни тщеславия делают нас смешными и заслуживающими презрения.

Никогда не делай долгов, лучше терпи лишения: они совсем не так ужасны, как это себе воображают, и, во всяком случае, лучше, чем чувство, что ты можешь оказаться бесчестным или будешь принят за такового.

Правилами, которые я тебе предлагаю, я обязан личному мучительному опыту. Если бы ты смог их усвоить, не будучи вынужден к этому. Они могли бы избавить тебя от дней тоски и бешенства. Когда-нибудь ты услышишь мою исповедь: она будет дорого стоить моему самолюбию, однако, это меня не остановит, поскольку дело идет о всей твоей жизни»¹.

И, действительно, много острых уколов самолюбия, горьких уроков, тайных и явных «неотразимых обид» пришлось,

¹ Si l'état de votre fortune ou bien les circonstances ne vous permettent pas de briller, ne tachez pas de pallier vos privations, affectez plutôt l'excès contraire: le cynisme dans son âpreté en impose à la frivolité de l'opinion, au lieu que les petites friponeries de la vanité vous rendent ridicules et méprisables.

N'empruntez jamais, souffrez plutôt la misère: croyez, qu'elle n'est pas aussi terrible qu'on se la peint et surtout que la certitude où l'on peut se voir d'être malhonnête ou d'être pris pour tel.

Ces principes que je vous propose, je les dois à une douloureuse expérience. Puissez vous les adopter sans jamais y être conteint. Ils peuvent vous sauver des jours d'angoisse et de rage. Un jour vous entendrez ma confession; elle pourra couler à ma vanité, mais ce n'est pas ce qui m'arrêterait lorsqu'il s'agit de l'intérêt de votre vie.

повидимому, изведать Пушкину за время его петербургской жизни, прежде чем он выработал с такой страстной убежденностью проповедуемое им в письме к брату противоядие против своей и его «нищеты».

Это, однако, не помешало Пушкину на всем протяжении первого петербургского периода своей жизни отдавать дань «играм Вакха и Киприды» — «гусарскому» молодечеству и «затеям», «неистовым пирам», беззаветной «игре жизнью».

Неизбежными участницами «оргий» Пушкина и его друзей были, конечно, и «вакханки». Через все три года петербургской жизни Пушкина тянется длинный перечень его «минутных» приятельниц; «ветреных Лаис», «младых монашенок Цитеры» — известной куртизанки Оленьки Массон, польки Анжелики, некой продавщицы билетов в странствующем зоологическом саду и т. д. и т. д.

Участие Пушкина в петербургских гусарских «вакханалиях», участие, иногда далеко выходящее за пределы обычных молодых попок, приняло такой размах и характер, что старшие друзья не на шутку стали бояться за его здоровье и самую жизнь. Следы этих опасений, уговоров и даже прямых угроз хранит тогда же (в декабре 1817 г.) написанное Пушкиным стихотворное обращение-ответ от лица своего и своих «бахических» друзей англomanу Кривцову, привыкшему к пристойно-умеренным формам западно-европейского эпикурейства и пришедшему в ужас перед русским его вариантом:

Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем:
Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг.
Пусть остылой жизни чашу
Тянет медленно другой,
Мы ж утратим юность нашу
Вместе с жизнью доропой;
Каждый у своей гробницы
Мы присядем на порог,
У пафосския царицы
Свежий выпросим венок,
Лишний миг у верной лени,
Круговой нальем сосуд,
И толпою наши тени
К тихой Лете убегут;
Смертный миг наш будет светел:
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные широв.

Характерно, что сперва Пушкин начал писать это стихотворение пятистопным ямбом в явно элегических и несколько даже минорных тонах:

Не угрожай ленивцу молодому,
Безвременной кончины я не жду:
В венке любви к приюту гробовому,
Не думав ни о чем, без робких слез иду.
Я мало жил, я наслаждался мало...
Но иногда цветы веселья рвал —
Я жизни видел лишь начало...

Однако бойкий, задорно-мажорный четырехстопный хорей оказался более подходящим для выражения его настроения.

В противовес уговорам и советам Кривцова Пушкин давал своим друзьям другой «добрый совет»:

Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнью играть,
Пусть чернь слепая суетится,
Не нам безумной подражать.
Пусть наша ветреная младость
Потонет в неге и в вине,
Пусть изменяющая радость
Нам улыбнется хоть во сне.
Когда же юность легким дымом
Умчит веселья юных дней,
Тогда у старости отыдем
Все, что отыметсЯ у ней.

То, что «запугиванья» Кривцова имели вполне реальные основания и над Пушкиным нависла к этому времени прямая угроза, показало ближайшее будущее. Подорванный «громоздким богатырским разгулом» организм Пушкина не выдержал. Не прошло и месяца после задорно-беззаботного ответа Пушкина Кривцову, как поэт тяжело и почти смертельно заболел.

«Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Я занемог гнилою горячкой... Лейтон (известный петербургский врач того времени. — Д. Б.) за меня не отвечал. Семья моя была в отчаянии...», вспоминал об этом позднее сам поэт. Две недели Пушкин был между жизнью и смертью, но молодость взяла свое, и к середине января 1818 г. он стал поправляться, хотя ему и пришлось вылезать в постели весь январь и февраль.

Однако едва Пушкин поправился, как прежний образ его жизни, остановленный болезнью, снова возобновился. Все усилия и старания старших друзей, горевавших по поводу

«преступной праздности гения» и пытавшихся посадить «сверчка на шесток» — засадить Пушкина за серьезную литературную работу, были напрасны. Не внесли никаких изменений в образ жизни Пушкина и два новых серьезных заболевания в феврале и в июне 1819 г. Вторая болезнь, правда, побудила его взять отпуск и снова уехать в Михайловское. Но как и в первую свою поездку, Пушкин не выдержал сельского уединения и тишины и задолго до назначенного срока вернулся обратно в Петербург.

Вместе с тем упреки в «преступной праздности», внешне такие закономерные, были не вполне справедливы. В написанных совсем незадолго до выпуска из лица стихах к уже известному нам Каверину Пушкин призывал его не обращать внимания на «роптанье черни»:

Пока живется нам, живи,
Гуляй в мое воспоминанье;
Молись и Вакху, и любви
И черни презирай ревнивое роптанье;
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

Милейший Александр Иванович Тургенев оказывался в данном случае в числе именно такой «черни». Он не только недооценивал, что «под покрывалом» пушкинской разгульной жизни и эксцентричных выходов вызревало произведение, которое произвело переворот в нашей литературе — «Руслан и Людмила», но что именно этот быт дал те типические впечатления, которые вошли впоследствии в содержание «Евгения Онегина».

«Видно... что не могло и не должно было бы быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза», — писал много десятилетий спустя о «безумном» пушкинском быте первой петербургской поры И. И. Пущин, как и А. И. Тургенев принадлежавший тогда к числу этих «слепых».

IV

В литературных и окололитературных, главным образом, конечно, арзамасских и близких «Арзамасу», кругах появление в Петербурге молодого Пушкина, — самого яркого и сильного таланта из всей подрастающей молодежи (исключительная, поражающая одаренность была из него клю-

чом!), возбуждавшего наибольшие надежды всей школы приверженцев языковой реформы Карамзина, было своего рода событием.

«На выпуск молодого Пушкина, — вспоминает один из арзамасцев, Ф. Ф. Вигель, — смотрели члены «Арзамаса» как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Сами родители его не могли принимать в нем более нежного участия; особенно Жуковский, восприимчивый к нему в «Арзамасе», казался счастлив, как будто бы сам бог послал ему милое чадо».

Восторженные похвалы Пушкину звучали со всех сторон. Отзыв А. И. Тургенева, данный им сейчас же по выходе Пушкина из лицея, мы уже приводили. Знакомая в том же июне Пушкина с Катениным, Гнедич сказал последнему: «Вы его знаете по таланту» — заявление характерное и наглядно показывающее, что «слава» молодого Пушкина вышла в это время за пределы арзамасского кружка.

Пушкин еще в лицее безоговорочно стал на сторону «Арзамаса» в его борьбе с «друзьями непросвещения» — литературной партией Шишкова — «беседчиками». Тогда же им был написан ряд типично арзамасских, программно-боевых посланий и эпиграмм.

Во время посещения лицея Вяземским и В. Л. Пушкиным весной 1816 г. они, очевидно, сказали Пушкину, что считают его своим — «арзамасцем». Так Пушкин прямо и подписывает набросанное им вскоре после этого (в конце 1816 или начале 1817 г.) послание к Жуковскому.

Живое и талантливое арзамасское «Общество безвестных людей» соединяло в своих рядах всех наиболее значительных и ценимых Пушкиным-лицеистом представителей современной литературы — Батюшкова, кн. Вяземского, Жуковского. Мракобесию и мистике Шишкова и его группы арзамасцы противопоставляли проповедь «света» — европеизма и просвещения; тяжелой скуке официально-чиновых — в мундирах, лентах и орденах, с министрами, архиепископами и чопорными светскими дамами — заседаний «Беседы» — непринужденную шаловливость дружеских собраний «арзамасской шайки» вокруг традиционного жареного гуся, буйную «галиматью» пародических ритуалов, искрящуюся талантом и умом вольную шутку под сенью «якобинского» «красного колпака», в который демонстративно облакался очередной председатель собрания. Естественно, что весь этот веселый и озорной быт, о котором Пушкин слышал в свои лицейские годы так много смеш-

ного от навещавших его арзамасцев и который еще больше расцветивал своим воображением, делал для него «Арзамас» желаннейшей приманкой, пребывание в среде арзамасцев предметом давних и страстных мечтаний. «Никогда лицей, — восклицал Пушкин в письме, написанном вдогонку Вяземскому после заезда его в Царское Село в 1816 г., — не казался мне так несносным, как в нынешнее время.. Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную Академию и «Беседу губителей русского слова». Именно беспечное арзамасское житье-бытье, очевидно, имел в виду Пушкин, когда писал в своем прощальном послании к товарищам-лицеистам: «Друзья! немного снисхожденья — оставьте красный мне колпак».

В дошедшей до нас части бумаг «Арзамаса» (начиная как раз с июля 1817 г. почти все они утрачены) не сохранилось — за одним исключением — никаких следов участия Пушкина в заседаниях кружка. Однако с уверенностью можно сказать, что «Арзамас» был одним из первых мест, куда Пушкин поспешил попасть тотчас по выходе из лицея (до отъезда его в июле в деревню арзамасцы собирались три-четыре раза). Вскоре по возвращении Пушкина из Михайловского в сентябре произошла и обычная шуточно-торжественная церемония официального принятия его в кружок.

К сожалению, до нас не дошла ни традиционная вступительная речь Пушкина, ни традиционный же ответ ему его арзамасского «восприемника» Жуковского. Однако по началу ее, сохранившемуся в памяти одного из участников собрания (речь Пушкина была произнесена — впервые за все время существования кружка — в стихах), мы можем составить представление о том чувстве восторженной радости, которое испытывал Пушкин, когда лицейские мечты его, наконец, сбылись и он смог на равной ноге вступить в среду «дивных» арзамасцев:

Венец желаньям! И так я вижу вас,
О други смелых муз, о дивный Арзамас!
Где славил наш Тиртей «Кисель» и Александра,
Где смерть Захарову пророчила Кассандра.

Из всей последующей, повидимому, довольно длинной речи мемуарист запомнил еще только полтора стиха —

в беспечном колпаке
С гремушкой, лаврами и с розгами в руке.

Окололитературное, бюрократическое крыло «Арзамаса» — Уваров, Блудов, — повидимому, несколько неодобрительно косилось на этого восемнадцатилетнего юнца, так непринужденно, как равный, ворвавшегося в их круг и сразу же почувствовавшего себя в нем, как дома. Именно впечатления этого крыла, очевидно, отражает Вигель, заканчивая уже приведенный нами рассказ о появлении Пушкина в «Арзамасе» следующими явно-неприятными словами: «Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата». Зато писательское ядро «Арзамаса» — кн. Вяземский, Батюшков и, в особенности, Жуковский, как и близкий им А. И. Тургенев — были, наоборот, в восторге от неудержимо-молодо шалившего, «прыгавшего» Сверчка — арзамасское имя Пушкина. Сам Пушкин жадно бросился в объятия новой дружбы, так полно вознаграждавшей его за только что перенесенную разлуку с лицейскими товарищами.

Вскоре после приезда из деревни Пушкин провел день на старом пепелище, в Царском Селе, но в обществе новых друзей. Обедали у «Светланы» (Жуковского) он, «Ахилл» (Батюшков) и еще один арзамасец, прозванный за его «негроподобную наружность» «Черным враном» — друг Жуковского, «неисчерпаемый источник веселия», даровитый дилетант А. А. Плещеев, сын тех самых Плещеевых, которым были посвящены Карамзиным его знаменитые «Письма русского путешественника». Память об этом дне — 4 сентября — запечатлелась в поэтической игре — коллективных экспромтах. Один ее участник начинал, другой продолжал или заканчивал. Писали после обеда, конечно, с обильным шампанским. Что у кого было на уме, то спадало с пера, и потому, несмотря на заведомо шуточный характер экспромтов, в них замечательно отразилась индивидуальность каждого из писавших. Особенно сказало это в отношении Пушкина, который в обоих экспромтах с жаром исповедуется в «пламенной» дружбе к своим новым друзьям.

Начал Плещеев:

Писать я не умею,
(Я много уписал) —

Я дружбой пламенею,
Я дружбе верен стаю —

тотчас же подхватывает Пушкин. Продолжает меланхолически настроенный в это время в связи с крушением планов о женитьбе Батюшков:

Мне дружба заменяет
Ушедшую любовь!

Закончил все Жуковский, в тоне и выражениях, столь ему свойственных:

Пусть жизнь нам изменяет,
Что было — будет вновь.

Тему дружбы снова настойчиво и подчеркнуто выделяет Пушкин и в следующем экспромте, посвященном еще одному новому другу Пушкина, которому он написал письмо сейчас же по возвращении из деревни, с непривычки перемешивая «ты» с «вы», — кн. Вяземскому, в связи с назначением его на службу в Варшаву (Пушкину принадлежат в этом экспромте 3-я — 5-я строки, начат он Плещеевым, 6-я строка написана Батюшковым, конец — Жуковским):

Зачем, забывши славу,
Пускаешься в Варшаву?
Ужель ты изменил
Любви и дружбе нежной
И резвости небрежной?
Но ты все так же мил...
Все мил — и неизменно
В душе твоей живет
Все то, что в цвете лет
Столь было нам бесценно.

Пушкин, обратившийся за несколько месяцев до того с пространном посланием к Жуковскому, выдержанным в типично арзамасских тонах, произвел, повидимому, в этот день на Жуковского особенно сильное впечатление. Упомянутая в своих лаконичных дневниковых записях-конспектах об обеде у него 4 сентября и умалчивая о столь хорошо ему известных остальных участниках его, Батюшкове и Плещееве, Жуковский выразительно отмечает имя Пушкина. Именно с этого времени и начинается прочная, проходящая через всю жизнь Пушкина, дружба его со своим вскоре побежденным им литературным учителем и неизменным житейским заступником. К той же осени 1817 г. относится стихотворная записка Пушкина к Жуковскому, свидетельствующая о неоднократных, хотя и неудачных, попытках посещения последнего Пушкиным и вместе с тем

о большой короткости отношений, быстро установившихся между старшим и младшим поэтами:

Штабс-капитану, Гете, Гретю,
Томсону, Шиллеру привет!
Им поклониться честь имею,
Но сердцем истинно жалею,
Что никогда их дома нет.

Записка интересна и потому, что в заведомо-шутливой, ласково-почтительной форме ее заключена серьезная и весьма критическая оценка Пушкиным поэтической деятельности Жуковского: ставя ее на очень большую высоту, «ученик» вместе с тем явно пеняет «учителю» на отсутствие у него собственного художественного лица, на то, что все его творчество сводится к перепевам с голоса немецких и английских поэтов.

Ровно через месяц после обеда с экспромтами Пушкин и Батюшков провожали Жуковского, назначенного давать уроки русского языка великой княгине Александре Федоровне, жене Николая Павловича и будущей императрице, и отправлявшегося в связи с этим в Москву. Друзья проехали с Жуковским первый перегон — от Петербурга до Царского Села — и на следующий день снова вернулись в Петербург.

Незадолго перед отъездом Жуковского состоялось прощальное заседание «Арзамаса», на котором между прочим читалось новое стихотворение Вяземского «Прощание с халатом», написанное в связи с поступлением его на службу. Пушкин, очевидно, был на этом заседании. Стихотворение Вяземского, апофеоз праздной и беспечной — «в халате» — жизни, оказалось так близко по своей настроенности Пушкину, также недавно просившему в прощальном послании к товарищам-лицеистам оставить ему на время «халат», что он затвердил его наизусть. Сохранились и два неполных списка этого стихотворения, сделанные собственноручно Пушкиным: один из них он поднес предмету своей лицейской любви, Е. П. Бакуниной. Присутствовал скорее всего Пушкин и на ряде других заседаний «Арзамаса», довольно часто в это время собиравшегося (с 27 августа, когда Пушкин уж был в Петербурге, до отъезда Жуковского, то есть в течение месяца с небольшим, состоялось не меньше четырех заседаний).

Мечты Пушкина о времени, когда он сможет в лоне «Арзамаса» «участвовать в невинном удовольствии по-

гребать покойную Академию и «Беседу губителей русского слова», полностью осуществились. Однако к этому времени сами заседания «Арзамаса» неожиданно приобрели совсем другой и гораздо менее «невинный» характер.

Пушкин попал в «Арзамас» в дни его кризиса, закончившегося вскоре полной гибелью кружка. Это было время, когда либеральные настроения передовых дворянских, в частности и, в особенности, военных кругов начали кристаллизоваться, приобретать организационные формы. Была сделана попытка образовать один из центров такой кристаллизации и внутри арзамасского кружка.

Фронт «Арзамаса» был фронтом исключительно литературным. Однако в формах чисто литературной борьбы «Арзамаса» с Шишковым и его «партией» выражалась борьба двух различных общественных идеологий. С «беседчиками» боролись не только как с авторами бездарных стихов, поэм и «притч», не только как с проповедниками псевдонаучных лингвистических теорий, но и как с реакционной общественной группировкой, носителями мракобесной церковной идеологии — русским вариантом общеевропейских «гасильников» просвещения — общеевропейской реакции. В свою очередь, Шишков и его группа обвиняли своих противников, начиная с самого Карамзина и кончая его приверженцами — арзамасцами, — не более и не менее как в проповеди революционных идей, в якобинстве! Обвинение это, конечно, носило комический характер. От якобинства на заседаниях «Арзамаса» имелся только один уже известный нам «красный колпак», который, очевидно, и введен-то был в шуточный ритуал кружка в качестве своего рода демонстративно-издевательского ответа на нелепое обвинение. Однако подавляющее большинство активных арзамасцев (Карамзин, избранный почетным членом «Арзамаса» — «почетным арзамасским гусем» — никакой сколько-нибудь существенной роли в кружке не играл и присутствовал за все время его существования всего на двух-трех заседаниях), начиная с Уварова, который воздвиг у себя на даче павильон в честь одного из крупнейших деятелей европейского либерализма, прусского министра Штейна, служивший местом арзамасских сборищ, и прежнесил в это время либерально-конституционные речи, и кончая А. И. Тургеневым и П. А. Вяземским, были убежденными «европеистами», поборниками более или менее умеренных либеральных идей. Для самих участников кружка, по крайней мере многих из них, эпитет «арзамас-

ский» был прямо синонимом «либерального». Так около этого времени, в 1818 г., арзамасец Н. И. Тургенев, рассказывая Вяземскому о введении другим арзамасцем, генералом М. Ф. Орловым, в войсках в Киеве «ланкастеровой методы», пояснял, что он «желает привить своему новому творению» «некоторые либеральные идеи, которые у вас переводят законно-свободными, а здесь можно покуда называть арзамасскими». Так же понимал слово «арзамасский» и Пушкин; недаром много позднее свою статью в защиту одного из столпов европейского либерализма, *m-me de Staël*, из которой он одновременно заявлял Вяземскому: «Не тронь Сталь, она наша», Пушкин подписывает «Старый арзамасец». И в ряду литературно-общественных группировок того времени «Арзамас», несомненно, был группировкой общественно-передовой, прогрессивной.

Этим объясняется неслучайное появление в «Арзамасе» — совсем незадолго до появления там Пушкина — нескольких будущих видных деятелей тайных обществ.

Начиная с конца 1816—начала 1817 г. в «Арзамас» вступают один за другим младший брат А. И. Тургенева, Николай Иванович Тургенев, один из главарей возникшего вскоре «Союза Благоденствия» и, по словам историков, «самая сильная голова» Северного общества декабристов; организатор республиканско-аристократического «Ордена русских рыцарей» и также один из виднейших деятелей «Союза Благоденствия», блестящий и уже прославленный свитский генерал, заключивший в 1814 г. договор о капитуляции Парижа союзным армиям, первое время любимец царя, незадолго до того подавший ему с рядом высших сановников петицию об уничтожении крепостного права, Михаил Федорович Орлов; наконец, будущий президент Северного общества и признанный его идеолог, автор известной конституции, Никита Муравьев.

Вместе с тремя новыми членами в «Арзамас» хлынула волна общественного подъема. В литературный кружок властно вторглась политика. Уже 11 ноября 1816 г., после зарегистрированной протоколом традиционно-литературной части, имела место, как это видно из дневника Н. И. Тургенева, в протокол не внесенная «беседа о политике», в которой, в частности, приняли участие Карамзин и Блудов. «Третьего дня был у нас «Арзамас» — записывает тот же Тургенев по поводу одного из заседаний «Арзамаса» в сентябре 1817 г., на котором, скорее всего, присутствовал и Пушкин. «Нечаянно отклонились мы от литературы и нача-

ли говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожить рабство». Насколько политика захватила в это время арзамасцев, показывает и характерное признание того же Н. И. Тургенева в своих позднейших мемуарах («Россия и русские»), что атмосфера «Арзамаса» в это время ничуть не отличалась от вскоре возникшего «Союза Благоденствия».

Особенно политически-активным оказался в «Арзамасе» М. Ф. Орлов, которому, по словам Вигля, «показалось, что свободная стихия достаточно наполняет «Арзамас», чтобы сделаться в нем преобладающей. Он задумал приступить к его преобразованию и дать ему новое направление». Действительно, уже в своей вступительной речи Орлов призывал арзамасцев, во-первых, «изобрать цель, достойнейшую» их «дарования и теплой любви к стране русской» — от бесплодных и беспредметных шуток и забав перейти к изданию литературно-политического журнала, — во-вторых, вывести «Арзамас» за пределы замкнутого узколитературного кружка, значительно расширив число его членов и открыв ряд филиалов в провинции. Последнее имело явной целью покрыть сеть арзамасских ячеек всю страну, то есть, другими словами, сделать «Арзамас» центром тайного общества, мысль о котором, частично уже осуществленная, носилась в это время в воздухе, в частности вынашивалась самим М. Ф. Орловым.

Призывы Орлова встретили сочувствие не только среди новых членов «Арзамаса» — Николая Тургенева и Никиты Муравьева, но, очевидно, и среди ряда старых арзамасцев. Это отразилось до известной степени в протокольных записях Жуковским соответствующих арзамасских заседаний. В частности, на предложение об издании журнала «Нравов, словесности и политики» горячо отозвался П. А. Вяземский, составивший специальную о том записку.

Однако наряду с этим тут же обнаружилась в кружке резкая трещина, которая стала шириться на глазах у всех и необычайно быстро привела к расколу и полной фактической ликвидации «Арзамаса». Трещина эта шла по линии расхождения между носителями крайне умеренного «официального» либерализма на словах, а по сути карьеристами и бюрократами, типа Уварова и Блудова, к этому времени уже учувшими все резче обозначившийся переход от «дней Александровых прекрасного начала» к их мрачному концу, от Сперанского к Фотию и Аракчееву, — и действительными либералами, стоявшими на грани дворянской ре-

волюционности и частично даже переступившими эту грань, яркими представителями коих были три новых арзамасца.

Записывая в свой дневник о первой политической беседе с арзамасцами, Николай Тургенев сразу же чутко отметил: «Они говорят, что любят то же, что и я люблю. Но я этой любви не верю. Что любишь, того и желать надобно. Они же желают цели, но не желают средств. Всё отлагают на время... Вопрос в том: должно ли то быть, что желательно? — должно. Есть ли теперь удобный случай для произведения чего-нибудь в действо? — Есть... Итак, из сего следует, что надобно делать — «дерзайте убо, дерзайте, людие Божии». «Дерзать» — дел а т ь — это и легло в основу образования будущих тайных обществ. Что касается до первоначального и основного ядра «Арзамаса», — большинство его представителей в лучшем случае согласны были только г о в о р и т ь. Поэтому, как только они почувствовали намерение Орлова толкнуть их на действие, они тут же организовали энергичный отпор.

Внешне Орлов, казалось, мог считать себя победителем. Арзамасцы приняли его предложение об издании литературно-политического журнала. Равным образом приступлено было к четкой организации кружка — составлению его устава — «законов», которые, действительно, были выработаны и приняты. В выработке «законов» Орлов, Николай Тургенев и Никита Муравьев явно принимали ближайшее участие. Не случайно определение цели «Арзамаса» (глава I, § 1): «польза отечества» и «распространение мнений ясных и правильных» — почти буквально совпадает с аналогичным местом «законоположения» будущего «Союза Благоденствия» (книга I, § 1): «благо отечества» и «распространение между соотечественниками истинных правил нравственности и просвещения». Вообще Орлов крепко взял дело «преобразования» «Арзамаса» в свои руки: ряд очередных заседаний кружка, посвященных как раз обсуждению и принятию законов, происходил не как обычно у Уварова, а именно у него.

Однако «победа» Орлова на деле оказалась совершенно мнимой. На одном из этих заседаний у Орлова, на котором он и Муравьев читали программы статей для журнала (самые программы, к сожалению, до нас не дошли, но дух, в котором они были написаны, не подлежит сомнению), произошло, по выразительной записи в протоколе секретаря — Жуковского, «вторичное по сотворении мира смешение языков».

Мало того, когда дело дошло до выбора «представителей» «Арзамаса», в количестве семи человек, из которых выделялись и главные редакторы журнала, Орлов оказался обойденным. Наоборот, подавляющее большинство было обеспечено за старыми арзамасцами: в число представителей вошли Уваров, Блудов, Дашков, Жуковский и Батюшков, бывший в это время из всех арзамасцев едва ли не самым умеренным в политическом отношении. Из новых членов выбран был, по его собственным словам, «против ожидания» только один Николай Тургенев, который (если даже считать, что также попавший в число представителей «Асмодей» — Вяземский был в это время ближе к новым членам) оказался в явном меньшинстве. Равным образом была категорически отвергнута установка Орлова на расширение кружка: в «законах» максимальное число избранных членов было ограничено всего-навсего двадцатью пятью человеками, а так как к тому времени в «Арзамасе» было, считая в том числе и Пушкина, уже двадцать членов, то привлечь к участию в кружке можно было только еще пять человек.

Однако даже в этих весьма ограниченных пределах, по существу сводящих на-нет почти все предложения Орлова, реорганизация кружка осуществлена не была. Поставленный перед весьма скромными, но вместе с тем новыми задачами некоторого общественного порядка, «Арзамас» почти сейчас же обнаружил полную свою несостоятельность. В следующем же после принятия законов и выбора представителей заседании «Арзамаса» Блудов, произнося традиционную речь в связи с церемонией официального вступления в кружок Батюшкова (он был принят заочно в самом начале организации «Арзамаса», но фактически появился в кружке только в это время), восклицал с явным выпадом по адресу отсутствующего Орлова: «Увы! любезный Ахилл, вступая в сию храмину, вы искали Арзамаса и находите один труп его, неодошевленный, искалеченный ударами рока... где свежая веселость, украшавшая первые дни наши! Ах, Арзамас! Все погибло! Несчастный голос, призывавший к труду, призвал нас к унынию». Действительно, «Арзамас» «погиб». После этого кружок собирался еще три-четыре раза; последний раз 2 октября 1817 г. Затем, не раньше чем через полгода, возможно, состоялась еще одна встреча арзамасцев. Вслед за этим кружок, хотя формально и не распущенный, навсегда прекратил свое существование.

Раскол и конец «Арзамаса» явился предварением других, куда более значительных расхождений, раскидавших былых арзамасских друзей по двум прямо противоположным полюсам русской общественности. Орлов, Николай Тургенев и Никита Муравьев пошли в тайные общества, в революционное движение декабристов. Лидер старого «Арзамаса» Уваров сделался одним из столпов николаевской реакции. Другой староарзамасец, Блудов, в 1826 г. был составителем «донесения следственной комиссии» по делу декабристов, приговорившей к смертной казни двух его товарищей по «Арзамасу» — Николая Тургенева и Никиту Муравьева.

Пушкин попал в самую гущу арзамасского разноязычия и споров: он, как мы уже говорили, очевидно, присутствовал на ряде июньских заседаний у Орлова, присутствовал он и на осенних, сентябрьских и октябрьских, заседаниях, в частности, на том из них, на котором все сошлись на необходимости уничтожения рабства. Полное отсутствие или чрезвычайная, не в пример обычному, лаконичность протоколов всех этих заседаний не дают возможности документально установить, с кем, на чьей стороне был Пушкин. Однако и при отсутствии документальных данных совершенно очевидно, что все идейные сочувствия Пушкина безоговорочно принадлежали новым членам «Арзамаса».

Весьма показательны в этом отношении следующие. После того как выяснилось, что «Арзамас» фактически распался и из издания арзамасцами литературно-политического журнала выйти ничего не может, один из трех арзамасских «раскольников», Николай Иванович Тургенев, решил взять дело издания в свои руки, вернее, в руки «Союза Благоденствия», к которому он тогда уже принадлежал. С этой целью в январе 1819 г. он решил составить особое общество для издания журнала и набросал программу последнего, который предполагал назвать или «Архив политических наук и российской словесности» или «Россиянин XIX века». К участию во всем этом он привлек своего товарища по Геттингенскому университету, лицейского профессора А. П. Куницына, и наметил еще ряд лиц, которым предполагал показать свои «мысли о составлении общества» (почти все эти лица, как и Куницын, были членами «Союза Благоденствия»). Из всех наличных арзамасцев Тургеньевым были намечены только двое — Никита Муравьев и Пушкин.

Из замыслов Тургенева и на этот раз ничего не выш-

ло, но самое его намерение привлечь Пушкина, конечно, показательны для отношения последнего к тому размежеванию и борьбе, которые возникли в «Арзамасе» как раз в момент его появления в кружке. Это показательны тем более, что в 1817 г. Пушкин уже придерживался совершенно тех же общественно-политических взглядов, что и в начале 1819 г.

V

Из лицея Пушкин вышел типичным, «либералистом», то есть с совершенно определившимися политическими настроениями, делавшими его в этом отношении вполне созревшим для вступления в тайное общество.

Сейчас же по окончании лицея один из ближайших лицейских товарищей Пушкина, Иван Иванович Пущин, как и другой общий их товарищ, В. Д. Вольховский, были приняты в первое тайное общество — «Союз Спасения», реорганизованный год спустя в «Союз Благоденствия». По словам самого Пущина, члены тайного общества И. Г. Бурцов и П. И. Колошин, с которыми он сблизился еще в бытность его в лицее, постоянно беседуя «о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими в тайне», нашли, что «по мнениям и убеждениям, вынесенным из лицея», он вполне «готов для дела». Между тем совершенно таких же «мнений и убеждений» был и Пушкин. «Он всегда согласно со мною мыслил о деле общем», свидетельствует об этом времени тот же Пущин. Действительно, политические стихи и эпиграммы, написанные Пушкиным в период до ссылки и некоторое время после нее, прямо показывают, что «мыслил» он, как член тайного общества. Мало того, сам Пущин объясняет чистой случайностью то, что он сразу же не открылся Пушкину и не «увлек его с собою» в общество: Пушкин, как мы уже знаем, как раз в это время уехал на месяц в Михайловское. «Первая моя мысль была открыться Пушкину, — рассказывает Пущин и тут же добавляет: «Не знаю, к счастью ли его, или к несчастью, он не был тогда в Петербурге». Однако, если неприятие Пушкина в тайное общество сейчас же по окончании лицея зависело от вполне случайного обстоятельства, то в дальнейшем Пущин не открывался Пушкину совершенно сознательно.

Тайное общество в конце 10-х — первой половине

20-х гг. было не только одним из самых значительных и действенных, но и безусловно самым прогрессивным общественным фактором тогдашней русской действительности. В тайное общество устремлялось почти все наиболее сознательное, передовое, героическое. Пушкин не только был со всех сторон окружен деятелями тайного общества, к которому принадлежал длинный ряд его ближайших друзей и знакомых, — людей, с которыми он встречался почти ежедневно и самым коротким образом, — но и, по образным словам одного из современников, П. А. Вяземского, прямо «жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере». При свойственной ему чуткой проницательности, Пушкин неоднократно догадывался о существовании общества, подчас страстно хотел быть его участником. И тем не менее не только попытки Пушкина проникнуть в общество встречали систематический и неумолимый отпор, но и самое существование общества тщательно от него скрывалось. Общество было здесь, вокруг, всюду. Пушкин дышал им, как воздухом, но, и как воздух же, он не мог осязать его руками. Руководители и члены общества неизменно и последовательно воздвигали между ним и Пушкиным невидимую и вместе с тем непреодолимую, непроницаемую преграду.

Менее всего руководила ими при этом отвлеченная любовь к литературе, сознание колоссального значения в ней Пушкина, стремление сохранить его, уберечь от опасностей и угроз, связанных с пребыванием в обществе. Подобное объяснение, правда, дается одним-двумя современниками, однако оно скорее всего сложилось позднее, ретроспективно, а если и нет, то отражает точку зрения лишь одного-двух отдельных лиц. В конце 10-х гг. удельный литературный вес Жуковского в сознании современников был гораздо больше, чем вес Пушкина, однако члены общества не задумались сделать безуспешную попытку привлечь его в «Союз Благоденствия». Да и потом члены «Союза Благоденствия» по началу никаких особых опасностей для себя от пребывания в нем не предвидели, ибо его программа и деятельность на первых порах носили достаточно невинный характер. Кроме того, для действительно убежденных, преданных делу членов тайного общества цель его была основной, главной задачей их жизни, выше и важнее чего не могло быть ничто на земле. Наконец, тот же Пушкин, в искренней дружбе и симпатии которого к Пушкину у нас нет никаких оснований сомневаться, неоднократно, наобо-

рот, сознавал, что для Пушкина и расцвета его таланта пребывание в тайном обществе имело бы не гибельное, а как раз самое положительное и благотворное значение, в корне изменив тот «гусарский» образ жизни, который вел поэт и который Пущин так в нем не одобрял: «Я страдал за него, и подчас мне казалось, что, может быть, тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах». «Но, — добавляет Пущин, — как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения, в деле, ответственном пред целию самого союза».

Трудно предполагать, чтобы, обуреваемый такого рода сомнениями, Пущин не посоветовался на этот счет с кем-нибудь из старших членов или даже руководителей «Союза Благоденствия». Скорее всего он говорил об этом с последними, но благословения на принятие Пушкина в Союз не получил, и тайны существования общества Пушкину — почти до самого 14 декабря — не выдал. А скрывать Пущину это было весьма и весьма трудно и тяжело. Пушкин, сразу же как вернулся из деревни, стал подозревать, что в жизни Пущина произошло что-то важное и значительное, что тот от него скрывает: непрерывно, по словам самого Пущина, «затруднял» его «спросами и расспросами», всячески стараясь заставить его проговориться, застигнуть врасплох. Причем Пушкин делал это, конечно, не только в отношении одного Пущина.

«Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества, — рассказывает Пущин, — было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева, где тогда собирались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут, между прочим, были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! «Ты что здесь делаешь? Наконец, поймал тебя на самом деле», шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним; подали чай, мы закурили сигаретки и сели в уголок.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Ни-

колаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!»

Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно. «Ты знаешь, Пушкин, что я отнюдь не литератор, и, вероятно, удивляешься, что я попал некоторым образом в сотрудники журнала. Между тем это очень просто, как сейчас сам увидишь. На-днях был у меня Николай Тургенев; разговорились мы с ним о необходимости и пользе издания в возможно свободном направлении; тогда это была преобладающая его мысль. Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу m-me Staël: «*Considérations sur la Révolution française*» и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из нее. Тут же пригласил меня в этот день вечером быть у него, — вот я и здесь!»

Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение, совершенно справедливое, удовлетворило Пушкина, только вслед за этим у нас переменился разговор, и мы вошли в общий круг».

Пушинское объяснение Пушкина явно не удовлетворило. Это даже легло некоторой тенью на отношения двух друзей. Самые встречи их стали реже, хотя, говорит Пушин, встречались они «с прежнею дружбой».

О причинах своего «секретничанья с Пушкиным Пушин отзывается с крайней осторожностью, очевидно стараясь щадить память товарища. Свое «секретничанье» он объясняет прежде всего образом жизни Пушкина. На фоне религиозного ханжества и лицемерной аскетической морали, усиленно насаждавшей в конце 10-х гг. Александром I и его ближайшими помощниками, вроде пресловутого министра народного просвещения и духовных дел, кн. А. Н. Голицына, «повесничества» юного, жизнерадостного Пушкина, подчас переступавшего «на играх Вакха и Киприды» пределы обычно дозволенного, выделялись, действительно, слишком ярким пятном. Тем более, что аскетизму справа тайное общество противопоставляло своего рода аскетизм слева. Вспоминая впоследствии в набросках своего неоконченного «Романа в письмах» об эпохе 1818 г., Пушкин не без некоторой иронии замечал устами своего героя: «В то время строгость нравов и политическая экономия были в

моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг: нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами». В самое начало устава — «общих законов» — «Союза Благоденствия», действительно, были внесены специальные оговорки относительно тех «качеств», которым должны удовлетворять принимаемые в «Союз»: «Союз Благоденствия приглашает к себе всех, кои честною своею жизнью удостоились в обществе доброго имени» (§ 1). «Вообще все люди разращенные, порочные и низкими чувствами управляемые, от участия в Союзе отстраняются». Пушкин с его неудержимым «гусарским» молодечеством, «лихачеством», неистощимыми шутками и проказами, с его, как казалось, исключительной погруженностью во все чувственные наслаждения, действительно, требованиям, предъявляемым к лицам, вступающим в «Союз», не удовлетворял. Пушкин рассказывает, как однажды — это было вскоре после известной нам встречи у Н. И. Тургенева, — очевидно, тяготясь отдалением, возникшим между ним и Пушкиным, он совсем уж было решил во всем ему открыться: «Преследуемый мыслью, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаяю общество полезного деятеля, почти решился броситься к нему и все высказать, зажмурия глаза на последствия. В постоянной борьбе с самим собою, как нарочно, вскоре случилось мне встретить Сергея Львовича на Невском проспекте.

«Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?»

«Вы когда его видели?»

«Несколько дней тому назад у Тургенева». Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.

«Je n'ai rien de mieux à faire que de me mettre en quatre pour rétablir la réputation de mon cher fils. Видно, вы не знаете последнюю его проказу».

Тут рассказал мне что-то, право не помню, что именно, да и припоминать не хочется... признаюсь, эта встреча, совершенно случайная, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы». Однако «гусарский» быт Пушкина был в лучшем случае полупричиной непринятия его в общество. Аскетические требования программы «Союза» носили в значительной степени бумажный характер. Был же принят в «Союз Благоденствия» уже известный нам учитель и образец Пушкина по части «гусарского» молодечества, идеал «прямого гусара» — Каверин. Да и сам Пушкин подчеркивает, что он отнюдь не был в то время, как и вообще когда бы то ни было, «спартан-

цем, каким-нибудь Катонем, далеко от всего этого: всегда шалил, дурил и кутил с добрым товарищем». Таким образом «шалостей» и «кутежей» Пушкина самих по себе было бы явно недостаточно для столь решительного отстранения его от тайного общества. И Пущин выдвигает другой мотив: он относился с крайним неодобрением к некоторым «светским» знакомствам и встречам поэта: «...Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.». Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом, смотришь, — Пушкин опять с тогдашними львами!».

А. Ф. Орлов, Чернышев, Киселев, Волконский — всё это были представители придворной верхушки, блестящие свитские генералы, люди непосредственного окружения Александра I, составлявшие полную противоположность своим братьям и товарищам, пошедшим ради «служения отечеству» в тайное общество.

Пущин, для которого пребывание и работа в тайном обществе стали главным делом его жизни, был в значительной степени прав в своем резко-нетерпимом отношении к знакомству и связям со всеми этими лицами. Всё это были, действительно, люди не только совсем другого склада и пути, но и потенциальные враги Пущина и его товарищей по тайному обществу. В дни восстания это не замедлило обнаружиться с полной силой. А. Ф. Орлов 14 декабря первый привел свой конногвардейский полк на площадь в помощь Николаю против «мятежников». Чернышев оказался одним из самых свирепых членов следственной комиссии по делу декабристов. Своевременное отмежевание от них для члена тайного общества было совершенно необходимо. Однако ведь Пушкин в обществе не состоял. Да и виноват он был только в одновременном увлечении различными сторонами действительности. «По выходе из лица, — рассказывал впоследствии его брат, Лев Сергеевич, — Пушкин вполне воспользовался своею молодостью и независимостью. Его по очереди влекли к себе то боль-

шой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны: он жадно, бешено предавался всем наслаждениям. Круг его знакомства и связей был чрезвычайно обширен и разнообразен». О том же твердит и другой очевидец этого периода жизни Пушкина, П. А. Плетнев: «Три года, проведенные им в Петербурге», по выходе из лицея, «отданы были развлечениям большого света и увлекательным его забавам. От великолепнейшего салона вельмож до самой нецеремонной пирушки офицеров, везде принимали Пушкина с восхищением». Однако отношение Пушкина к «вельможам» было далеко от какого бы то ни было недостойного искательства. В послании к тому же А. Ф. Орлову, написанном Пушкиным летом 1819 г., он ни в малейшей мере не изменяет своей либеральной настроенности того периода, отмечая в Орлове, в противовес русскому «генералу» вообще, как раз те качества, которые должны были ему нравиться в нем именно как либералу:

О ты, который сочетал
С душою пылкой, откровенной
(Хотя и русский генерал)
Любезность, разум просвещенный;
О ты, который с каждым днем,
Вставая на военну муку,
Усталым усачам верхом
Преподаешь царей науку,
Но не бесславишь сгоряча
Свою воинственную руку
Презренной палкой палача...

Самый тон этого обращения, простого, свободного, как к равному, чужд какой бы то ни было лести, пресмыкательства.

Еще свободнее и независимее отзывается он в этом же послании о другом генерале, связь с которым инкриминировал ему Пущин, — Киселеву:

На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд.
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом.
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего¹.

¹ Разрядка наша. — Д. Б.

В таком же не только свободном и независимом, но и резко сатирическом тоне характеризует Пушкин «высший свет» и «вельмож» в другом своем послании, написанном вскоре после послания к Орлову в том же 1819 г. и обращенном к близкому лицейскому товарищу, Горчакову, который до конца предался этому «высшему свету». Сочувственно противопоставляя «большому свету» «тесный круг друзей», Пушкин объясняет это тем, что в последнем:

Не слышу я бывало острых слов,
Политики смешного лепетанья,
Не вижу я изношенных тупцов,
Святых невежд, почетных подлецов
И мистики придворного кривлянья!.

Пушин, как и другие его товарищи по тайному обществу, Пушкина здесь явно не понимали. Широта его влечений и интересов возбуждала серьезные опасения. Пушин, как он это ни вуалирует в своих «записках», боялся того, что Пушкин не сумеет сохранить тайну организации. Рассказывая, что в самом начале он только благодаря отсутствию Пушкина в Петербурге не «увлек его с собою» в общество, Пушин продолжает: «Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уж не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. К тому же в 1818 году, когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали необходимым делать выбор со всею строгостью... На этом основании я присоединил к Союзу одного Рылеева, несмотря на то, что всегда был окружен многими, разделяющими со мной образ мыслей».

Однако дело не в осторожности Пушина. Пушкину не доверял не только Пушин, не доверяли ему и все остальные члены тайного общества, притом, не в пример близко знавшему и любившему Пушкина Пушину, мотивировали это недоверие еще гораздо более резким образом. Чрезвычайно выразительно в этом отношении свидетельство члена Общества Соединенных Славян, И. И. Горбачевского, писавшего позднее другому декабристу, М. А. Бестужеву, как раз в связи с пушинскими воспоминаниями о Пушкине: «Бедный Пушин, он того не знает, что нам от

Верховной Думы было даже запрещено знакомиться с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, когда он жил на юге. И почему? Прямо было сказано, что он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни сделает донос тотчас правительству о существовании тайного общества». Причем свидетельству это целиком подтверждается и принадлежавшим к совсем другой декабристской группировке — Северному обществу — М. А. Бестужевым; который делает к словам Горбачевского следующее примечание: «Совестно было ему (Пушину) об этом сказать, но знаю, он догадывался, — я часто с ним говорил о Пушкине, сидевши вместе в 3-м отделении Петровского каземата».

Думать о Пушкине, который вскоре после восстания уничтожил мемуары, которые он вел, ибо боялся, что «они могли замешать имена многих и, может быть, умножить число жертв», который при встрече с Николаем I в Москве, на вопрос царя, где бы он был, если бы оказался 14 декабря в Петербурге, смело и не задумываясь ответил — «на площади с мятежниками», думать о Пушкине, человеке исключительного благородства, что он донес бы правительству о тайном обществе, значило, конечно, совершенно не понимать его внутренней сущности.

Недоверие деятелей тайного общества к моральным качествам Пушкина составляет, может быть, одно из самых роковых недоразумений, один из самых трагических эпизодов его биографии. Конечно, не приходится закрывать глаза на то, что связь с обществом, если бы она возникла, могла бы легко повести Пушкина, при свойственном ему максимализме, способности во всем доходить до предела, на виселицу или, по меньшей мере, в Сибирь. Но, с другой стороны, избыток клокотавших в нем сил был бы направлен по широкому руслу подымающей душу героической деятельности во имя высших целей, а не растрчивался бы в таких «проделках», от воспоминания о которых, по словам того же Горбачевского, «уши и теперь краснеют». Деятели тайного общества не понимали, что все эти «проделки», загулы Пушкина происходили, помимо того, что просто кипела в нем и бурлила молодая кровь, и от глубокого неудовлетворения современной ему русской действительностью, неудовлетворения, которое он разделял вместе с наиболее чуткими людьми эпохи. Как раз около этого же времени — в марте 1817 г. — Батюшков пишет Вя-

земскому, говоря о трудности писателю в России давать общественно-полезные произведения: «в нашей благословенной России можно только упиваться вином и воображением». Та же нота постоянно звучит в письмах самого Вяземского. Выход из этого неудовлетворения могло дать или «вино», или высшая облагораживающая деятельность внутри тайного общества. А насколько сам Пушкин жадно искал такой высшей облагораживающей деятельности, показывает столь известный и, несмотря на это, по сию пору глубоко волнующий рассказ одного из видных декабристов, Якушкина, относящийся к периоду пребывания Пушкина в конце 1820 г. (вскоре после высылки его из Петербурга) в Каменке, где собралось в это время большое число членов тайного общества, направлявшихся в Москву на съезд «Союза Благоденствия». «Генерал Раевский, — рассказывает Якушкин, — не принадлежал сам к тайному обществу, но, подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все, происходящее вокруг него. Он не верил, чтобы я случайно заехал в Каменку, и ему очень хотелось знать причину моего прибытия. В последний вечер Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я договорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к тайному обществу или нет. Для большего порядка в наших прениях был выбран президент Раевский. С полушутливым и с полуважным видом он управлял общим разговором. В последний этот вечер пребывания нашего в Каменке, после многих рассуждений о разных предметах, Орлов предложил вопрос: насколько было бы полезно учреждение тайного общества в России? Сам он высказал все, что можно было сказать за и против тайного общества. В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнениями Орлова; Пушкин с жаром доказывал всю пользу, какую бы могло принести тайное общество России. Тут, спросив слово у президента, я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование тайного общества, которое могло бы быть хоть насколько-нибудь полезно. Раевский стал мне доказывать противное и исчислил все случаи, в которых тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой. В ответ на его выходку я ему сказал: «Мне не трудно доказать вам, что вы шутите, я предложу вам вопрос: если бы теперь уж существовало тайное общество, вы наверное к нему не присоединились бы?» — «Напротив, наверное присоединился бы», — отвечал он. — «В

таким случае давайте руку», — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: — «Разумеется, все это только одна шутка». Другие также смеялись, кроме Ал. Львовича, рогоноса величавого, и Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уверился, что тайное общество или существует, или тут же получит свое начало, и он будет его членом: но когда он увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезой на глазах: — «Я никогда не был так несчастен, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собою, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен».

Вот к этому-то «прекрасному», с такой яркостью и силой выступившему в Пушкине в нужную минуту, деятели тайного общества и были «слепы».

В России Фотиев и Аракчеевых, в России мракобесия, темного самодурства, низкопоклонства, лести, мелкого карьеризма Пушкин страстно искал настоящих людей — людей высокой гражданской настроенности.

...в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно-свободной? —

спрашивал он в одном из стихотворений того же 1817 г.

Таких людей он встречал среди членов тайного общества. Тем больнее ему должно было быть недоверие, которое он чувствовал к себе в этих людях. Ненормальное положение Пушкина среди деятелей тайного общества, которые — как он все время догадывался — что-то скрывали, конспирировали от него, в чем-то главном ему не доверяли, должно было переживаться им с тем большей остротой, что, не посвящая его в свои тайны, деятели общества вместе с тем стремились держать его как можно ближе от последнего, стараясь всячески использовать в интересах общества ту огромную интеллектуально-творческую силу, которую он собой представлял.

По уставу «Союза Благоденствия» членам «Союза» было вменено в обязанность организовать так называемые «вольные общества», в частности, литературного порядка. Члены-организаторы должны были руководить их деятельностью, направляя ее таким образом, чтобы она могла

«способствовать достижению цели Союза», тщательно вместе с тем скрывая от остальных членов не только связь их с «Союзом», но и самое существование последнего. Позднее, в 1819 г., Пушкин вступил в одно из таких обществ, так называемую «Зеленую лампу». Однако и до этого Пушкин, с его величайшим художественным дарованием и все растущей популярностью был для «Союза» уже сам по себе таким своего рода «вольным обществом». И деятельность его на пользу и потребу «Союза» в самом деле стоила деятельности целого общества.

Так прямо и намекал ему Пушкин, «успокаивая» его, когда Пушкин снова и снова допытывался у него о существовании общества, «тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели». Пушкин имел в виду деятельность Пушкина в качестве автора «вольных стихов». Общество, со своей стороны, делало все, чтобы деятельность эту всячески стимулировать.

Мы уже приводили восторженный отзыв А. И. Тургенева в письме к брату, Сергею Ивановичу, жившему тогда в «чужих краях», об «удивительном таланте» Пушкина. Отзыв тот вполне подтверждал Николай Иванович месяца три спустя, в письме от 16 декабря, писавший тому же брату Сергею: «У нас теперь есть молодой поэт Пушкин, который точно стоит удивления по чистоте слога, воображению и вкусу, и все это в 18 лет от роду».

Сергей Иванович, отличавшийся тогда самым пламенным либерализмом, в связи с этим занес в свой дневник (1 декабря нового стиля): «Жуковский писал мне, что, судя по портрету, видит он, что в глазах моих блещут либеральные идеи. Он поэт: но я ему скажу по правде, что пропадет талант его, если не всему либеральному посвятит он его. — Только такими стихами можно теперь заслужить бессмертие; восхищая душу, поэты должны просвещать умы. — Мне опять пишут о Пушкине, как о развертывающемся таланте. Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность и, вместо оплакиваний самого себя, пусть первая песнь его будет: Свободе».

Есть все основания думать, что это пожелание С. И. Тургенев послал в Петербург в не дошедшем до нас письме к одному из братьев, скорее всего, конечно, Николаю Ивановичу.

По крайней мере едва ли случайно, что первым стихотворением Пушкина, написанным почти непосредственно

после этой записи, то есть, очевидно, в конце 1817 г., действительно, явилась «песнь Свободе» — ода «Вольность».

Тем менее это случайно, что, по показаниям мемуариста Вигеля, прямое предложение написать «Вольность» было сделано Пушкину в петербургской квартире братьев Тургеневых, причем сделано кем-то из непосредственного окружения Николая Ивановича:

«Из людей, которые были старше Пушкина, всего чаще посещал он братьев Тургеневых; они жили на Фонтанке прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним, то есть меньшому Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенью брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать про него стихи. Он по матери происходил от арапа и гибкостью членов, быстротой телодвижения несколько походил на негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном; растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Окончив, показал стихи и, не знаю почему, назвал их «Одой на свободу».

Рассказ Вигеля, не совсем точный в подробностях, подтверждается позднейшим свидетельством самого Н. И. Тургенева, прямо указавшего, что «Вольность» «в половине» была написана Пушкиным в его комнате. Закончил Пушкин оду в ту же ночь, у себя, и на другой день принес ее Н. И. Тургеневу. Дочь Каверина рассказывала, что мысль написать «Вольность» внушил Пушкину ее отец. Н. И. Тургенев, судя по записям его дневника, находил в Каверине полного своего единомышленника (действительно, как мы уже указывали, последний был вскоре принят в «Союз Благоденствия»), и весьма правдоподобно, что именно Каверина, зная его большую близость с Пушкиным по «гусарским» делам, он и выбрал, в целях наилучшей конспирации, для того, чтобы осуществить понравившуюся ему мысль брата Сергея — побудить Пушкина открыть свое новое, по выходе из лицея, поэтическое поприще «Песнью о Свободе».

Намерение это вполне осуществилось. Ода «Вольность», действительно, явилась первым по-настоящему гражданским политическим произведением Пушкина, не только открывшим длинную серию его «вольных стихов», но и вызвавшим особенный гнев царя Александра, то есть сыг-

равшим главную роль в постигнувшей Пушкина два с половиной года спустя каре — высылке из Петербурга на юг России.

О значении, которое сам Пушкин придавал этой оде, можно судить хотя бы по тому, что в своем итоговом «Памятнике» он упоминает ее в качестве одной из главных своих заслуг перед народом.

Ода «Вольность» представляет для нас двойной интерес: с одной стороны, как наиболее яркое и отчетливое из всех произведений Пушкина этой поры исповедание его политического кредо, являвшегося вместе с тем политическим кредо Николая Тургенева, И. И. Пущина и вообще большинства членов «Союза Благоденствия», с другой, — как некоторый кризис его поэтической системы, важный этап в истории его литературной эволюции.

Пушкин ориентировал свою оду на знаменитое произведение под тем же названием Радищева, введенное последним, в отрывках, в его «Путешествие из Петербурга в Москву» и вызвавшее особенное негодование Екатерины II своим «совершенно бунтовским» тоном.

В 47-й строфе своей оды Радищев восклицает:

Да юноша, взалкавший славы,
Пришед на гроб мой обветшалый,
Дабы сочувствием вещал:
«Под игом власти, сей, рожденный,
Нося оковы позлащены,
Нам вольность первый проризал».

Пушкин как бы и явился таким мечтавшимся Радищеву юношей, который подхватил его знамя, — «восславил» вслед за ним «свободу», как прямо писал об этом сам Пушкин в черновых набросках «Памятника».

Прямая связь между одноименными одами Пушкина и Радищева побудила исследователей произвести тщательный сравнительный анализ обоих произведений, в результате которого удалось установить ряд параллельных мест, схожих словосочетаний, образов, сравнений¹. Однако анализ этот шел главным образом по чисто внешним, фор-

¹ См. примечания П. О. Морозова к пушкинской оде в собраниях сочинений Пушкина под ред. П. О. Морозова, изд. «Просвещение», Спб., 1909, т. I, стр. 560—562; С. А. Венгерова, изд. «Брокгауз и Ефрон», т. I, стр. 514, и статью В. П. Семенникова «Радищев и Пушкин (в связи с вопросом об историко-литературном и общественном значении Радищева)» в его книге «Радищев. Очерки и исследования», М. — Петр., 1923, стр. 246—247.

мальным признакам. Сходство произведений Пушкина и Радищева показать было, конечно, нужно. Гораздо позже, в эпоху полной своей зрелости и вместе с тем окончательного суждения о Радищеве и как о политике, и как о поэте, Пушкин в набросках своего антипутешествия, так наз. «Путешествия из Москвы в Петербург», замечал по поводу радищевской оды, что «в ней много сильных стихов». Тем более эти стихи должны были казаться Пушкину «сильными» больше чем за пятнадцать лет до того. Однако гораздо важнее и существеннее для выяснения идейно-политического лица Пушкина то, что, при несомненном сходстве его оды с одой Радищева, между ними имеются и весьма характерные различия.

То, что Радищев говорит в своей оде о событиях английской революции, а Пушкин о событиях революции французской, не имеет значения, и даже больше того: при внешнем отличии это идет как раз по линии сходства обоих произведений. Радищев останавливается на двух случаях проявления в истории торжества «вольности». Один из них произошел на его глазах, другой — незадолго до него, но продолжал и в его время сохранять огромное впечатление, которое произвел он на современников. Это события американской революции—восстание Северо-американских штатов против метрополии, Англии,—и английской революции XVII в. Соответственно этому и продолжая историческую последовательность, Пушкин иллюстрирует свою оду аналогичным и имеющим для него такую же злободневность историческим материалом — событиями французской революции, развернувшимися после написания радищевской оды. Таким образом в этом Пушкин прямо следует Радищеву — продолжает его. Там—казнь Карла I, здесь — казнь Людовика XVI. Но отношение обоих поэтов к этой казни — другими словами, к теме цареубийства, составляющей центральный пункт, основной нерв обоих произведений, различно.

И у Радищева, и у Пушкина мы сталкиваемся со своего рода культом закона. Вольность должна «сочетаться» с законом. И только в этом сочетании залог истинного блага народов.

«Человек во всем от рождения свободен», говорит Радищев:

Но что ж претит моей свободе?
Желаньям зрю везде предел;
Возникла обща власть в народе,
Соборной всех властей удел.

Ей общество во всем послушно,
Повсюду с ней единодушно;
Для пользы общей нет препон.
Во власти всех свою зрю долю,
Свою творю, творя всех волю:
Вот что есть в обществе закон —

и дальше следует восторженное воспевание закона, «в виде божества во храме, коего стражи суть истина и правосудие»:

Возводит строгие зеницы,
Льет радость, трепет вокруг себя;
Равно на все взирает лица,
Ни ненавядя, ни любя.
Он лести чужд, лицеприятства,
Породы, знатности, богатства,
Гнушась жертвенныя тли;
Родства не знает, ни приятни,
Равно делит и меду, и казни;
Он образ божий на земли.

То же у Пушкина:

Лишь там над царскою главою
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью Святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит.

Однако на природу и происхождение закона точка зрения у обоих поэтов разная. Для Радищева, последователя теории «естественного права» Руссо и Мабли, закон — «образ божий на земли», но божеством, волю и свет которого отражает в себе закон, является народ. Исполнение закона народ поручает царю. Получается иерархия: Народ — закон — царь. У Пушкина закон — некая высшая метафизическая сущность, стоящая над царем, но и над народом:

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль Народу, иль царям
Законом властвовать возможно!

Соответственно этому казнь Карла I для Радищева — торжество справедливости, акт праведной мести верховного судьи — народа над царем, узурпировавшим в свою пользу данную ему для общей пользы власть:

«Но ты, забыв мне клятву данную» — говорит народ царю, —

Забыв, что я избрал тебя,
Себе в утеху быть венчанну
Возмнил, что ты господь, не я;
Мечом моим расторг уставы;
Безгласными поверг все правы,
Стыдиться истине велел.
Расчистил мерзостям дорогу,
Взывать стал не ко мне, но к богу,
А мной гнушаться восхотел.

Казнимый король — «злодей злодеев всех лютейший»; зрелище казни вызывает в Радищеве восторженное ликование:

Ликуйте склепанны народы;
Се право мщенья природы
На плаху возвело царя.

И таким злодеем, «хищным волком», что «слепец» народ «чтил своим отцом», по Радищеву, неизбежно является всякий царь.

Правда, «злодеем» называет Радищев также и Кромвеля (как Пушкин — Наполеона), однако только потому, что, казнив короля, он, в свою очередь, присвоил себе верховную власть; но за самую эту казнь Радищев готов ему простить многое, если не всё.

Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что, власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил!
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы,
Ты Карла, на суде, казнил.

Наоборот, для Пушкина казнь Людовика XVI — акт беззакония, горестное зрелище узурпации «дремлющего» закона при попустительстве безмолвствующего — вот откуда начинается этот образ, получающий свое знаменитое воплощение в концовке «Бориса Годунова» — народа; казнимый король — «мученик», поражающий его нож гильотины — «преступная секира»; возмездие за это — новые оковы народу:

Тебя в свидетели зову,
О мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь недавних
Сложивший царскую главу.

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,

Главой развенчанной приник
К кровавой плахе Вероломства,
Молчит Закон — Народ молчит,
Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Здесь Пушкин не только не следует Радищеву, но и почти по всем главным пунктам полемизирует с ним.

Ода Радищева, по определению Екатерины, «совершенно явно и ясно бунтовская, где царям грозитя плахою. Кромвелев пример приведен с похвалами. Сии страницы суть криминального намерения, совершенно бунтовские». Определение это надо признать вполне точным. Все «Путешествие из Петербурга в Москву» — в том числе и, может быть даже в особенности, ода «Вольность», — проникнуто страстным ожиданием народного — крестьянского — восстания. При мысли о неизбежности его Радищев не может удержатъ своего восторга и торжества:

«Но человечество возревет в оковах и, направляемое надеждою свободы и неистребимым природы правом, двинется... И власть приведена будет в трепет. Тогда всех сил сложение, тогда тяжелая власть

Развеется в одно мгновенье.
О день избраннейший всех дней!
Мне слышится уж глас природы,
Начальный глас, глас божества.

Мрачная твердь поэзбунулась, и вольность воссияла» — так излагает сам Радищев (в «Путешествии») заключительные строфы своей оды (не исключено, что Пушкин мог знать всю оду и полностью в списках).

В «Вольности» Пушкина никакого восторженного приятия народного восстания нет. Его ода направлена не против царя вообще, а против узурпаторов закона, с его точки зрения, «тиранов», в каком бы звании они ни состояли — царя или члена Конвента (ср. резко отрицательную характеристику Пушкиным Марата в позднейшем «Кинжале»).

Говоря в терминах столь популярного среди членов будущего «Союза Благоденствия» Монтескье, Пушкин выступает в своей оде против «деспотии» за «законно-свободную», то есть конституционную монархию. Не будьте деспотами и тиранами, взывает Пушкин своей одой к царям, будьте «законно-свободными» монархами, ибо — учтите примерами Калигулы, Наполеона и Павла I — тиранов, «увенчанных злодеев» ждет бесславная гибель. Отсю-

да — призыв к Александру «склониться под сень закона» —
дать конституцию:

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказания, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станет вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Это была программа столь восторжавшего Пушкина и его друзей из тайного общества «пламенного трибуна» — Мирабо, к которому поэт позднее, полушутя, полувсерьез, приравнивал Николая Ивановича Тургенева, программа французских либералов — Бенжамена Констана и m-me de Staël — и доктринеров (Гизо и др.), наконец, программа большинства членов вскоре возникшего «Союза Благоденствия».

Однако общий тон, пафос «Вольности» был сильнее ее политической мысли. Некоторые места оды, несмотря на всю относительную скромность ее политических требований и ожиданий, звучат с исключительной энергией, как подлинно революционные лозунги. Таковы, например, заключительные строки второй строфы:

Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Таково же знаменитое обращение к «самовластительному злодею». Пушкин непосредственно связывает его с предшествующей строфой, конец которой обращен к Наполеону (поэт в то время еще не изжил резко-отрицательного отношения к Наполеону, разделявшего и французскими либералами, и русскими общественными кругами эпохи войн 1812 — 1815 гг.):

И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит,

И сейчас же вслед за этим:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу.
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия природы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.

Однако, отправляясь от Наполеона, Пушкин дает в этой строфе обобщенный образ тирана (уже слова о «смерти детей» не имеют никакого отношения к Наполеону, единственный сын которого умер только в 1832 г.). Под этот обобщенный образ полностью подходит и другой «увенчанный злодей», Павел, к изображению судьбы которого Пушкин и переходит непосредственно вслед за этой строфой. Самый параллелизм событий французской и русской истории словно бы подсказывает заключительное, в стихах Пушкина отсутствующее, звено его аналогии: убит Людовик — и «се — злодейская порфира», убит Павел I и... не то же ли?

Однако «криминальность» оды Пушкина заключалась отнюдь не только в возможности такого параллелизма. Совершенно независимо от этого ода являлась страшным ударом непосредственно по Александру I.

В отличие от Радищева Пушкин в конкретно-исторических иллюстрациях своих положений не ограничился чужеземной действительностью, а смело перешагнул в действительность русскую, поставив в параллель событию французской революции — казни Людовика XVI — кровавое русское событие, бывшее еще у всех на памяти и потому сохранявшее самую острую злободневность. Пушкин словно бы отвечает тем, кто стал бы говорить, что события западноевропейской действительности для нас неубедительны, что движения, аналогичного французской революции, произойти у нас не может, причем отвечает примером, не только заимствованным из нашей действительности, но и для нее типичным (судьба Павла повторяет судьбу его отца, Петра III), блестяще подтверждающим на конкретном факте знаменитое «словечко» *m-me de Staël* о русском государственном устройстве как о самовласти, ограниченном цареубийством. В отношении этого события Пушкин занимает совершенно ту же позицию — горестного созерцателя исторической Немезиды. Он не на стороне тирана — «увенчанного злодея» (словосочетание, целиком заимствованное из оды Радищева) Павла. Не на стороне он и его убийц. Самая картина этого убийства для него отвратительна:

О стыд! о ужас наших дней!
Как звери вторглись янычары!..
Падут бесславные удары.—
Погиб увенчанный злодей.

Поэт только показывает на русском примере, к чему судьба неизбежно ведет тирана и в России. Тем урок, даваемый одою русскому царю, становится особенно действенным и выразительным. Однако в стихотворении содержится больше чем урок царю, то есть Александру I, — в нем и грозное его обвинение.

11 марта 1801 г. безусловно бросало зловещую тень на Александра I, принявшего царскую корону из рук убийц его отца. Тень эта усугублялась еще тем, что в обществе ходили весьма правдоподобные слухи о прямом участии Александра I в заговоре. Смелость Пушкина заключалась не только в том, что он дерзнул со всей беспощадной яркостью напомнить Александру I то, о чем последний всячески хотел бы забыть, — заговорить публично, в стихах, о роковом «происшествии» начала царствования, о котором все знали, но если и говорили, то только на ухо, но и в том, что он прямо подчеркивал активное участие в нем Александра I.

Как известно, доступ в Михайловский замок, в котором жил и был убит Павел I, был исключительно затруднен, — по свидетельству очевидцев, «как в осажденную крепость». С наступлением же сумерек он и вовсе прекращался. Проникнуть в замок, окруженный со всех сторон рвом, наполненным водой, можно было только по малому подъемному мостику для пешеходов, который был всегда поднят. Между тем в ночь убийства на карауле стояли часовые от Семеновского полка, шефом которого был как раз цесаревич Александр. В этом и заключалась одна из основных улик против Александра I.

Эту-то улику Пушкин смело и выдвигает:

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата открыты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...

Сам поэт считал строфы об убийстве Павла самым сильным, ударным местом оды. В так называемом «Воображаемом разговоре с Александром I» — шуточном произведении, набросанном Пушкиным восемь лет спустя, в один из томительных зимних вечеров михайловской ссылки, в ответ на слова царя: «Я читал вашу оду «Свобода». Она написана немного сбивчиво, слегка обдуманна», Пушкин ядовито, явно поддразнивая своего воображаемого собеседника, замечает: «Но тут есть три строфы очень хо-

рошие». Что поэт имеет здесь в виду именно строфы об убийстве Павла, доказывается не только тем, что их, действительно, три, но и последующей репликой перебивающего его царя: «Я заметил, вы старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы», на что Пушкин, не отрицая этого, отвечает: «Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской оде?».

Когда, года два спустя, ода Пушкина попала в руки царя, последний, действительно, сразу «заметил» это.

Именно отсюда — страшное возмущение царя против поэта, выразившееся в первоначальном намерении сослать последнего в Соловки или в Сибирь, куда, — и в самом деле «вслед Радищеву», — Пушкин едва не отправился.

«Заметили» это и современники. Об этом прямо свидетельствует отклик на пушкинскую оду другого юноша-поэта, также только что сошедшего со школьной скамьи, — Тютчева. В своем стихотворном ответе на пушкинскую оду Тютчев всячески приветствует строфы ее, направленные против тиранов:

Счастлив, кто гласом твердым, смелым,
Забыв их сан, забыв их трон,
Вещать тиранам закоснелым
Святые истины рожден!
И ты великим сим уделом,
О, муз питомец, награжден!

Однако, наряду с этим, Тютчев весьма осторожно возражает против даваемой Пушкиным картины убийства Павла и намеков на причастность к этому его наследника, царя Александра I:

Но граждан не смущай покоя
И блеска не мрачи венца.
Певец! под царскою парчюю
Смягчай, а не тревожь сердца¹.

В истории отношений Пушкина с Александром I, сыгравшей такую видную роль в дальнейшей судьбе поэта, пушкинская ода занимает особенно важное место. Ода Пушкина явилась первым публичным обвинением Александра со стороны современника, обвинением исключительно тяжкого характера. Этим объясняются настоячивые

¹ Разрядка наша. — Д. Б.

преследования Пушкина царем, преследования, не прекращающиеся до самой смерти последнего.

Не менее важное, до известной степени переломное, значение имеет ода «Вольность» и в истории чисто литературного развития Пушкина.

Ода прямо начинается с отказа Пушкина почти от всей ранней полосы его творчества — «изнеженной лиры» Анакреона, Парни и Батюшкова. Вместо богини любви — Венеры, Пушкин ставит себя под знак иной «грозной» музыки — «гордой певичы свободы»:

Беги, сокройся от ючей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певича?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

От «стишков о любви», от «лепетанья крохотной музыки», как называл свои стихи, в минуты критической самооценки, сам Батюшков, Пушкин переходит к «вещанью святых истин тиранам» — к высокой гражданской лирике. «Изнеженная лира» «певца Тиисского» заменяется лирой Алкея, знаменитого древнегреческого автора политических од, проникнутых ненавистью к тиранам (ср. слова Тютчева о пушкинской оде в уже известном нам ответном послании его к Пушкину: «Проснулся в лире дух Алцея»).

Но «дух Алцея» требовал и новых форм для своего выражения. Средствами карамзинизма, в широком смысле этого слова, средствами поэтики Батюшкова и Жуковского выразить его оказалось нельзя. И карамзинист, ученик и последователь Батюшкова и Жуковского, гармонический арзамасский «сверчок», Пушкин вынужден стать на столь до тех пор осуждаемые им архаические пути. Легкие — фюжитивные — жанры элегии и эпикурейского послания оказываются явно непригодными. Политическое негодование, политическая проповедь требуют для себя традиционной формы классической поэзии XVIII века — оды.

Самое обращение Пушкина к Радищеву характерно не только в тематическом, но и в более широком, общелитературном плане, плане поэтики.

Радищев в стихе ценит превыше всего не «гладкость» и легкую произносимость, а его смысловую выразительность. В «Путешествии» он приводит возражения сторон-

ников «итальянизации» русского языка и стихосложения, к которым позднее целиком принадлежал и Батюшков, против одного из стихов его оды «Вольность»: «Во свет рабства тьму претвори»: «Он очень туг и труден на изречение, ради частого повторения буквы Т, и ради соития частого согласных букв «бства тьму претв»: на десять согласных три гласных, а на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на италианском». «Согласен... — отвечает Радищев, — хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия...». Сохраняя стих, как есть, — хотя путем простой перестановки слов («Во свет тьму рабства претвори), ничего не стоило бы придать ему большую легкость, — Радищев прямо показал, что выразительная «негладкость» для него предпочтительнее сладостной, но и ослабляющей смысл сглаженности — принцип, диаметрально противоположный карамзинистско-арзамасской поэтике, для которой «жесткость» стиха была равносильна осуждению его «последним приговором».

Вспомним, что когда Пушкин, еще в бытность в лицее, хотел также вслед за Радищевым писать своего «Бову», Батюшков выступил с решительными возражениями и убедил его отказаться от этого замысла. В «Вольности» Пушкин снова идет радищевским путем. Такие строки ее, как «Врата отверсты в тьме ночной» (тверсты в тьм), или «Воссела—рабства грозный гений» (бства грозн), или «Востаньте, падшие рабы» (сстаньте падш), написаны явно по рецепту Радищева. Недаром такой правоверный карамзинист и арзамасец, как П. А. Вяземский, с укоризной называл некоторые стихи «Вольности» «херасковскими».

Своей одой «Вольность» арзамасский «сверчок» Пушкин совершил то, что тщетно ожидали и требовали Михаил Орлов, Николай Тургенев и Никита Муравьев от всего «Арзамаса» в целом: из круга узко-личной и узко-литературной, замкнутой, камерной лирики вышел на широкое политическое поприще «под знаменами либерализма».

Вместе с тем поэтика «Арзамаса», поэтика Батюшкова и Жуковского, до того времени полностью исповедуемая Пушкиным, дала в «Вольности» первую трещину.

ТРУДЫ МОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ
И ЛИТЕРАТУРЫ имени Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО



ПУШКИН

СБОРНИК СТАТЕЙ

под редакцией проф. А. Еголина

О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Художественной литературы
МОСКВА 1941